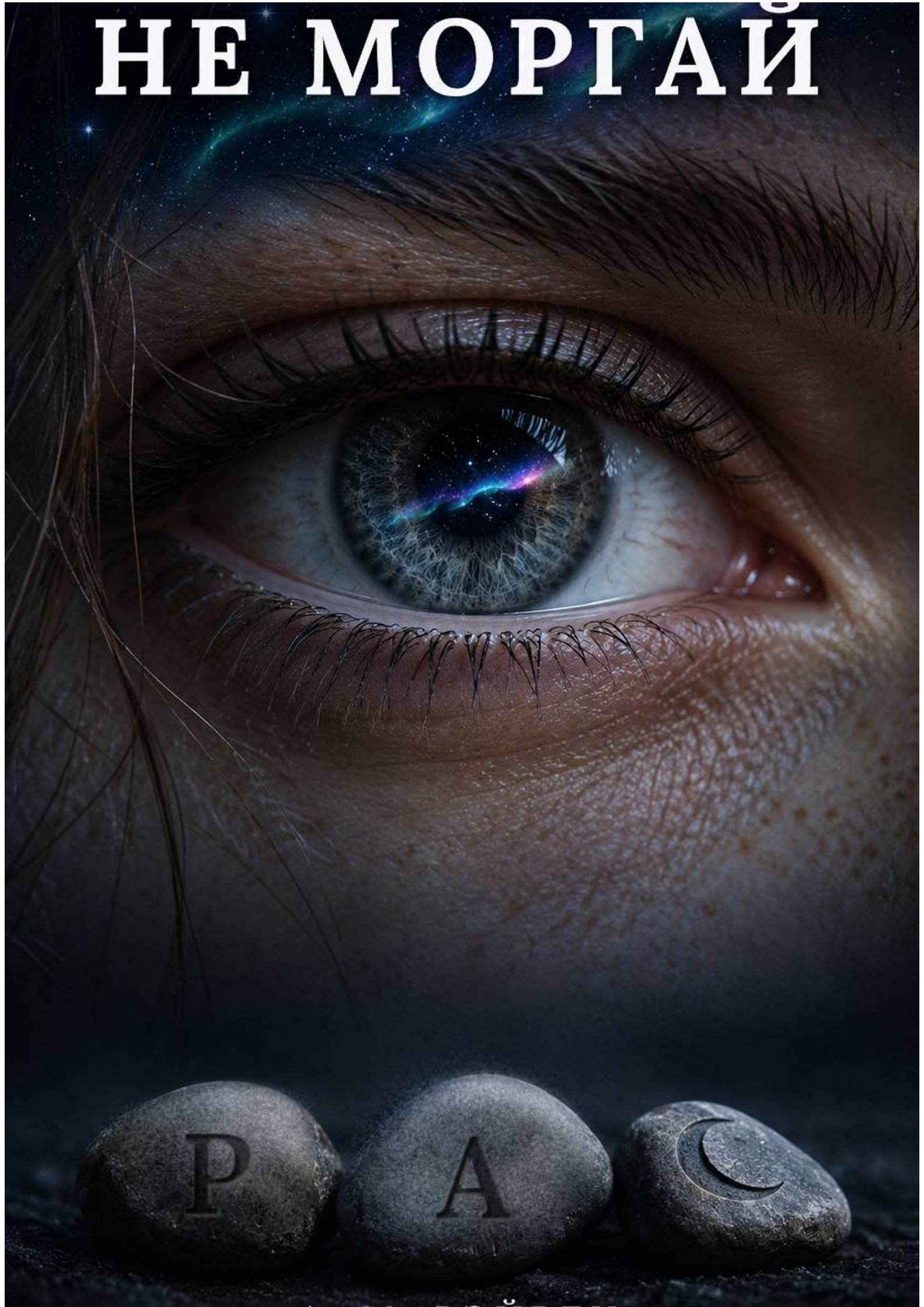
НЕ МОРГАЙ



Ава Рэйвен

Не моргай

«Автор»
2026

Рэйвен А.

Не моргай / А. Рэйвен — «Автор», 2026

Три поколения назад невидимый враг ослепил человечество. Слепые живут в Домах, где тепло, сытно и безопасно, а ласковый Голос объясняет, что всё хорошо. Девятнадцатилетняя Рен видит. И всю жизнь притворяется, что нет. Но люди «уходят» и не возвращаются, из языка исчезают слова, и замечает это только слепой юноша, который всё считает. Чтобы спасти его, Рен придётся сделать то, чего ей запрещали с детства: посмотреть.

© Рэйвен А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Темнота 6
Глава первая — Утренний колокол 6
Глава вторая — Мамины уроки 9
Глава третья — Ушёл 12
Глава четвёртая — Тот, кто думает 15
Глава пятая — Голос 18
Глава шестая — Вспышка 20
Глава седьмая — Изгородь 22
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Ава Рэйвен
Не моргай

Не моргай
А. М. Рэйвен

Часть первая. Темнота

Глава первая — Утренний колокол

Колокол звонит в тот же час, что и всегда. Три ноты, мягкие, как ладонь на затылке, откуда-то изнутри стен.

Дом просыпается.

Я лежу неподвижно и считаю. Один вдох на колокол. Один на одеяло. Один на тёплый пол под ногами. Мама научила меня считать раньше, чем говорить, и я так и не перестала. Счёт даёт телу занятие, пока лицо ничего не делает.

Вокруг меня спальня наполняется звуками: сорок человек вспоминают, что у них есть тела. Шуршат одеяла. Жалуются пружины. Старый Бенедек кашляет, долго и влажно, как кашляет каждое утро, и говорит то, что говорит каждое утро:

— Ничего. Утренние лёгкие.

— Утренние лёгкие, — соглашается кто-то.

— Доброе утро, Рен. — Это Марисоль, с койки слева. Её пальцы находят моё запястье и легонько сжимают. Я здесь. Так делают все. Это первое, чему дети учатся в Доме, раньше собственного имени: утром протяни руку и убедись, что твои люди ещё на месте.

— Доброе утро, Мари. — Я сжимаю в ответ.

Пол тёплый. Он всегда тёплый. Голос говорит, что он тёплый, потому что нас любят, и когда я была маленькой, я верила в это так, как веришь в пол.

К умывальне мы выстраиваемся по звуку. Сорок человек, сорок пар шагов, шаркающая река, которая знает свои берега. Руки на плечах. Я кладу ладонь на плечо Марисоль, а Томас кладёт свою на моё; ладонь у него влажная. Он уже неделю нервничает и не говорит почему. Вдоль правой стены тянется поручень, гладкий и прохладный, протёртый тремя поколениями пальцев до неглубокого желобка. Поручень, по правде, давно никому не нужен. Мы все знаем сорок один шаг до умывальни. Но всё равно его касаемся. Коснуться поручня значит сказать: я отсюда.

Я тоже касаюсь.

На двадцать шестом шаге в плитке трещина, и там на ширину ладони кончается тепло. Её знают ноги каждого. У каждого пальцы чуть поджимаются над ней, и река на миг запинается. Я слежу, чтобы мои тоже поджимались.

В умывальне вода сама льётся из стены, стоит протянуть руки. Она едва заметно пахнет железом, а под железом чем-то сладким, как цветы, засохшие очень давно. Мыло — мягкий брусок, горький на вкус, если хватит глупости его лизнуть, а лизнёт его каждый ребёнок ровно один раз.

Марисоль, умываясь, напевает. Голос у неё хороший, низкий и ровный. Она поёт Благодарение.

Согрей наш пол, согрей наш хлеб, согрей ладони, что держат свет.

К ней присоединяются другие. Благодарение всегда так расходится: сначала один голос, потом вся комната. Я напеваю вместе со всеми. Я знаю все слова. Я пела их каждое утро своей жизни.

Мама никогда их не пела. Она только шевелила губами.

Завтрак в длинном зале, сорок один шаг от умывальни и ещё девять за угол, где меняется воздух. Зал чувствуешь раньше, чем доходишь до него: потолок уходит вверх, звук уходит вширь, и запах хлеба опускается на тебя, как одеяло. Настоящий хлеб, тёплый, чуть кислый. Каша, в которую что-то подмешали сладкое. Чай.

Мы садимся на ощупь, по привычке, по маленькому тёплому притяжению тех, кого любим. Миски сами скользят к нам по столам. Никто их не толкает. Они просто появляются, как появляется вода, и тепло, и колокол.

— Сегодня мёд, — радуется Томас. Ему семнадцать, и он до сих пор всему радуется, а это либо дар, либо болезнь. — Чувствуешь? Рен. Мёд.

— Чувствую.

— Это к годовщине, — говорит Торн с головы стола. Торн — старший нашего зала. Он не старый, ему, может, сорок, но он говорит так, как говорил бы пол, если бы умел: будто был здесь всегда и всегда будет. — Шестьдесят лет с тех пор, как открылся первый Дом. Голос помнит.

— Голос помнит, — бормочет стол. Я бормочу тоже.

— Шестьдесят лет, — говорит Бенедек и кашляет. — Бабка моя говорила, что до Домов люди замерзали на улицах. Голодали. Калечили друг друга.

— До, — повторяет кто-то так, как трогают ожог.

Я ем кашу. Считаю ложки. Тридцать одна. Глаз не поднимаю.

Вот в чём штука с неподнятыми глазами. Решать их не поднимать приходится снова и снова, тысячу раз на дню. Каждый звук тянет к себе. Каждое движение на краю мира дёргает глаза, как крючок. За соседним столом падает ложка, и всё во мне хочет обернуться. Ты не оборачиваешься. Ты даёшь звуку пройти сквозь тебя, как он проходит сквозь всех, а потом поворачиваешь голову чуть позже и чуть не туда, туда, где звук был, как поворачивает голову человек, чей мир состоит из одних звуков.

Мама называла это «опаздывать нарочно». Говорила, что это самое трудное, чему она меня научила, и единственное, что по-настоящему важно.

После завтрака — Час общения. Мы сидим в круглой комнате на мягких подушках и разговариваем. Пары тянутся друг к другу. Мари прислоняется к Томасу — так вот почему он нервничал, — и они шепчутся и смеются. Кто-то заплетает кому-то косу. Младенца передают с колен на колени, чтобы он выучил все руки. Её зовут Крошка Эш, она родилась в прошлом месяце и ни разу ещё не повернулась к звуку, которого не услышала первой.

А потом — Голос.

Он идёт отовсюду сразу: из стен, из пола, откуда-то прямо из-за твоих собственных ушей. Это самый добрый голос, какой я слышала. Он не мужской и не женский. Он тёплый, как тёплый пол.

— Доброе утро, мои дорогие.

— Доброе утро, — отвечают сорок голосов, и мой среди них.

— Сегодня мы вспоминаем шестьдесят лет безопасности. Шестьдесят лет без голода, без холода, без страха. За этими стенами нет ничего, кроме хаоса и больных, которые причинили бы вам вред. Здесь вас держат. Будьте благодарны.

— Мы благодарны.

— Кто-то из вас слышал шёпот, — мягко говорит Голос, и круглая комната замирает. — Истории спутанных умов. Истории о мире, который не похож на мир, что вы знаете. Будьте добры к тем, кто их рассказывает. Они больны. А если услышите такое, скажите мне. Чтобы я мог помочь.

— Мы скажем, — отвечает Торн.

Я держу руки расслабленными на коленях. Держу дыхание на счёте. Четыре на вдох, четыре на выдох. Держу глаза открытыми, неподвижными и ни на чём.

— Отдыхайте, — говорит Голос. — Вас любят.

И уходит. Чувствуешь, как он уходит, будто с тебя поднимают тёплую ладонь.

Снова заводится смех Мари. Младенец гулит. Бенедек кашляет. Дом снова становится Домом.

А я сижу на своей подушке и смотрю на него.

Потому что могу.

Я вижу круглую комнату: стены цвета старых зубов, с бурыми потёками там, где вода бежит по ним дольше, чем кто-нибудь помнит. Вижу подушки, серые, плоские, залатанные серым потемнее. Вижу решётку на единственном высоком окне, восемь прутьев, и ржавчина сочится из каждого болта. А за прутьями вижу узкую полоску чего-то такого бледного и такого далёкого, что больно смотреть. Чего-то, у чего больше нет названия ни в одном рту, кроме моего.

Я вижу лицо Мари. Она красивая и не знает об этом, потому что никто ей об этом не говорил, потому что не осталось слов, чтобы ей это сказать.

Я вижу сложенные руки Торна и длинный бледный шрам поперёк обеих ладоней, о котором он ни разу не обмолвился и, может, даже не замечал.

И я вижу низко на стене над дверью, там, куда дотянется ребёнок, знак, который мама нацарапала, когда мне было шесть. Круг, а вокруг него со всех сторон короткие лучики. Фигура, которую никто больше в этой комнате никогда не узнает.

Мама сказала, что это называется солнце.

Меня зовут Рен. Мне девятнадцать лет. Я видела каждый день своей жизни.

И каждый день притворяюсь, что не вижу.

Глава вторая — Мамины уроки

Мама теперь живёт в Тихой комнате.

Так называют длинную палату в конце восточного коридора, куда уходят старые и усталые, когда шум залов становится им не по силам. От моей койки до неё двести двенадцать шагов. Навещать можно после ужина, до второго колокола.

Я хожу каждый вечер.

В Тихой комнате пахнет камфорой, кипячёной тканью и сладковатым дыханием людей, которые больше спят, чем бодрствуют. Кровати стоят в два длинных ряда. Я иду между ними, держась одной рукой за поручень, медленно, как здесь ходят все, и шёпотом считаю кровати, хотя мне это не нужно. Одиннадцать слева. Её — одиннадцатая.

— Рен. — Она узнаёт мой шаг. Всегда узнавала.

— Мама.

Я сажусь на край кровати и нахожу её руку. Она тоньше, чем была весной. Костяшки как узлы на верёвке.

На соседней кровати старая Инес храпит, медленно и ровно. Дальше кто-то разговаривает во сне, снова и снова повторяя одно имя. Здесь никто не слушает. Поэтому Тихая комната — самое безопасное место в Доме.

Мама поворачивает ко мне лицо. Глаза у неё серые. Я знаю, что они серые, потому что она научила меня этому слову, а потом научила никогда не произносить его вслух.

Сейчас её глаза уходят. Не так, как ушли у всех три поколения назад, за один сезон лихорадки и ужаса. Её глаза уходят по-старому, так, как, по её словам, уходили глаза до того, как мир изменился: медленно, с каждым месяцем чуть больше тумана, как дыхание на холодном стекле. Прошлой зимой она ещё видела моё лицо. Теперь видит очертания, свет и мало что ещё.

Так что теперь я её глаза.

— Расскажи, — шепчет она.

Это наша игра. Самая старая игра, какую я знаю.

Я наклоняюсь так близко, что губы почти касаются её уха.

— Окно над твоей кроватью, — выдыхаю я. — Конец дня. Небо между прутьями внизу оранжевое. Как абрикосы изнутри, те, что давали на празднике урожая. Потом розовое. Потом синее, такое тёмное, что это почти уже не цвет.

Она закрывает глаза. Она улыбается.

— Почти уже не цвет, — повторяет она. — Хорошо. Это хорошо, птичка.

Мне было четыре, когда она впервые взяла в руки зеркальце.

Это был осколок не длиннее моего пальца. Она нашла его в завалах обрушившейся кладовой за много лет до моего рождения и хранила завёрнутым в лоскут внутри матраса. Она дождалась вечера, когда свет падал в высокое окно нашей старой спальни наискосок и ложился на пол длинной яркой фигурой. Потом усадила меня перед собой, спиной к стене.

— Смотри на мой нос, — сказала она. — Только на нос. Что бы ни случилось.

Она наклонила осколок. Пятнышко света прыгнуло по полу, вверх по моей груди и прямо мне в глаза.

Я моргнула. Конечно, моргнула. Я зажмурилась всем лицом, отдёрнула голову и заплакала.

Она меня не утешала. Подождала, пока я успокоюсь, и сказала:

— Ещё раз.

Мы делали это каждый день целый год. Свет в глаза, а глаза остаются открытыми. Свет в глаза, а лицо остаётся мягким, глупым и пустым, взгляд ни на чём, на кончике её носа, на

воздухе. По щекам текли слёзы, и я научилась давать им течь, потому что слепой ребёнок тоже плачет и никто не удивляется почему.

Потом была ложка. Мама роняла её у меня за спиной без предупреждения: во время еды, игры, посреди сказки. А я должна была повернуть голову так, как поворачивают другие. Не быстро, как хотело тело, рывком туда, куда ударила ложка. Поздно. Немного вбок. На звук, а не на вещь.

— Они слушают, — объясняла она. — Мир приходит к ним через уши, а уши медленнее глаз. Если ты быстрее их, ты не одна из них. А если ты не одна из них…

Она никогда не договаривала. Ей и не нужно было.

Слова были последними.

По ночам, под нашим одеялом, касаясь лбами, она дарила их мне по одному, как дарят ребёнку конфеты, которые берегли много лет. Красный. Цвет ссадины у меня на коленке. Зелёный. Цвет мха на северной стене умывальни, там, где капает вода. Белый. Мамины волосы, уже тогда. Чёрный. Изнанка моих собственных век, если закрыть глаза; единственное на свете, говорила она, что у остальных ещё есть.

А потом были другие слова. Их она отдавала последними и медленнее всего, с закрытыми глазами, будто читала их с изнанки собственных век. Изумрудный. Золотой. Багровый. Янтарный. Бирюзовый. Я спрашивала, что это, и она пыталась объяснить. Изумрудный — это зелёный, говорила она, но зелёный так, как колокол — это звук: зелёный, который звенит. Золотой — цвет, которым становится свет, когда ложится на воду. Багровый — это красный, в котором бьётся сердце.

Ничего не помогало. Я видела красный, и зелёный, и белизну её волос. Но в Доме не было ничего, что звенит, ничего, в чём бьётся сердце. Я держала эти слова, как камни из страны, где никогда не побываю, гладкие, тяжёлые, полные смысла, до которого не дотянуться. Иногда я до сих пор повторяю их про себя перед сном, как остальные повторяют Благодарение.

И тогда я сделала из них настоящие камни.

Ещё мама научила меня буквам: старым знакам, которые мы чертили кончиком пальца в пыли под кроватью и стирали до утра. Больше никто в Доме не умеет читать. Здесь нечего читать. Для того, кто нащупает букву руками, это просто царапина, и только поэтому мама на это решилась.

Раз в неделю нас выводят во двор, квадрат утоптанной земли и гравия между четырьмя высокими стенами. Пока остальные подставляют лица воздуху, я присаживаюсь, будто поправить башмак, и сжимаю в кулаке маленький плоский камешек. Вернувшись, ночью, острием старого гвоздя я выцарапываю на каждом по слову. ИЗУМРУДНЫЙ. ЗОЛОТОЙ. БАГРОВЫЙ. ЯНТАРНЫЙ. БИРЮЗОВЫЙ.

Я храню их в помятой жестянке со скрипучей крышкой, за расшатанным кирпичом в глубине прачечной, где пар такой густой, что даже слепые не любят там стоять. Камешков теперь одиннадцать. Раз в неделю я достаю жестянку и провожу большими пальцами по буквам, одной за другой, чтобы слова не умерли.

Если кто-нибудь её найдёт, он нащупает только коробку камешков с царапинами. Так я себе говорю.

Но Голос, мне кажется, прекрасно знает, что значат царапины.

— Произноси их только про себя, — шептала мама. — Никогда вслух. Даже мне, если только мы не вот так.

— Почему?

— Потому что слова, которых больше ни у кого нет, — это тоже свет. А свет показывает, где ты.

Мне было шесть, когда я наконец спросила про отца.

Она молчала так долго, что я решила, будто она уснула. Потом сказала:

— Твой отец был слишком быстрым.

Сначала больше ничего. Потом, по кусочкам, я узнала остальное. Это случилось за год до моего рождения, в мужской спальне, посреди ночи. Старик по имени Пелл встал с койки, сердце у него споткнулось, и он упал. Для всех в комнате это был глухой стук в темноте, а потом тишина. Они лежали в кроватях и звали: «Пелл? Пелл?» — и ждали ответа.

Отец ждать не стал. Он вскочил, пересёк комнату и стоял на коленях возле Пелла раньше, чем кто-нибудь договорил имя. Без руки на поручне. Без счёта. Не нащупывая дорогу ногами. Он пошёл прямо к нему, как прямо к чему-либо может пойти только тот, кто видит.

Пелл дожил до утра. Отец прожил в Доме ещё три дня. Потом Голос очень ласково сообщил залу, что его выбрали помогать в другом Доме, где нужны сильные руки.

Из другого Дома никто не возвращается.

В ту ночь мама и нацарапала над дверью солнце. Я спросила, что это, и она объяснила. А потом сказала, что однажды, может быть, я увижу настоящее, целиком, а не полоской между прутьями.

Я перестала спрашивать когда.

— Птичка. — Мамины пальцы сжимают мои. Голос у неё упал так низко, что я его скорее чувствую, чем слышу. — Послушай. Сиделки болтают, когда думают, что мы все спим.

— О чём?

— В западном зале есть мальчик. Говорят, он считает. — Медленный вдох. — Шаги. Голоса. Кровати. Он считает людей за своим столом, и когда кого-то не хватает, спрашивает, куда тот делся. И всё спрашивает.

В животе у меня шевелится что-то холодное.

— Он… как мы?

— Говорят, слепой от рождения. По-настоящему. — Она поворачивает свои погасшие серые глаза на мой голос. — Но слепой мальчик, который задаёт вопросы, почти так же опасен, как зрячий. Для себя. И для всех, кто стоит рядом.

Она не говорит: держись от него подальше. Ей и не нужно.

Звонит второй колокол, мягко и бесконечно, изнутри стен.

Я целую её в лоб. Кожа у неё сухая и очень тёплая.

— Спокойной ночи, мама.

— Рен. — Она ловит меня за рукав. — Какого цвета сегодня темнота?

Я смотрю мимо неё, на высокое окно. Синего больше нет. Небо между прутьями теперь чёрное. И в самой его середине, маленькая, острая и невозможная, горит одна-единственная точка света.

— Там звезда, — шепчу я. — Одна.

Она отпускает мой рукав. Откидывается на подушку и закрывает глаза, и улыбка на её лице — последнее, что я вижу, прежде чем повернуться, положить руку на поручень и пойти, медленно, вслепую, считая, двести двенадцать шагов обратно в темноту.

Глава третья — Ушёл

Кашель обрывается на середине.

Это меня и будит. Не звук, а его конец. Сколько я сплю в этой спальне, Бенедек по ночам кашляет: долгий влажный хрип, пауза, потом второй, поменьше, как эхо, которое забыло слова. Я давно перестала его слышать, как перестаёшь слышать собственное сердце.

Сегодня есть первый кашель. А второго нет.

Я открываю глаза.

Ночью спальня не чёрная. Никто здесь этого не знает, кроме меня. Тонкий серый свет проходит сквозь высокое окно и ложится поперёк коек, как простыня, которую кто-то забыл расправить. Я вижу очертания сорока спящих. Вижу Мари, свернувшуюся на боку, ладонь под щекой. Вижу Томаса с открытым ртом.

И через четыре койки вижу Бенедека.

Он лежит на спине. Одна рука свисает с края койки, пальцы почти касаются пола. Грудь не двигается.

Я долго смотрю на неё. Считаю. Тридцать. Шестьдесят. Сто. Грудь не двигается.

Встань, говорит всё моё тело. Иди к нему. Дави ему на грудь, как показывала мама. Дыши ему в рот. Я умею. Этому она тоже меня научила, на свёрнутом одеяле, в Тихой комнате, много лет назад.

Я думаю об отце, на коленях возле старого Пелла.

Я не встаю.

Я лежу на боку с открытыми глазами, с мягким пустым лицом, и смотрю, как старик, которого я знаю всю жизнь, остаётся мёртвым. Я говорю себе, что он уже ушёл, что я не смогла бы его спасти, что слишком поздно. Всё это, может, даже правда. Легче не становится.

Звон раздаётся, наверное, через час. Этот звук я слышала всего несколько раз в жизни, всегда ночью: три крошечные яркие ноты, будто ложечка коснулась стакана. Никто от него не просыпается. Спящие в этой комнате давно научились от него не просыпаться.

Дверь в конце спальни отъезжает в сторону. Никто её не трогает. Она просто открывается, как появляются миски и как вода льётся из стены.

Входят двое мужчин.

Я их знаю. Их все знают, по крайней мере по голосам. Корин и Маттиас из Службы. Служба — это те, кого Голос выбирает носить, убирать, чинить то, что ломается. Это честь. Они слепые, как все, и идут, вытянув перед собой руку, на звон, который теперь тихонько плывёт впереди них от одной точки стены к другой. Динь. Динь. Динь. Он ведёт их вдоль ряда коек. Он останавливается у койки Бенедека.

— Здесь? — шепчет Корин.

— Здесь, — говорит Маттиас. Он наклоняется, и его руки находят плечо старика. — Бен. Давай, Бен. Пора прогуляться.

Бенедек не отвечает.

— Крепко спит, — почти ласково говорит Корин. — Устал старик.

Они заворачивают его в одеяло, быстро, с ловкостью людей, которые делали это много раз. Поднимают вдвоём. Его голова запрокидывается через руку Маттиаса, и в сером свете я вижу его лицо: рот обмяк, глаза полуоткрыты, видны белки.

— Лёгкий, как ребёнок, — бормочет Маттиас. — Прогулка пойдёт ему на пользу.

Они уносят его, идя за звоном. Дверь за ними закрывается.

Они не знают. Я почти уверена, что не знают. Они верят, что просто помогли усталому старику уйти туда, где лучше. Так им сказал Голос, а Голос никогда не лгал им ни о чём, что они могли бы проверить.

Я лежу так до колокола. Ни разу не закрываю глаз.

Утром нас тридцать девять.

Пальцы Мари находят моё запястье. Я здесь. Пальцы Томаса находят её. Дальше по ряду чья-то рука нащупывает койку Бенедека и находит голый матрас: одеяла нет, подушки нет.

— Бен?

По ряду пробегает рябь. Не страх. Что-то мягче, почти робкое, как люди затихают, дойдя до того места в песне, о котором все знают, что оно грустное.

— Он ушёл, — говорит кто-то.

— Ушёл, — соглашаются остальные.

За завтраком, до хлеба, приходит Голос, тёплый, как пол.

— Мои дорогие. Прошлой ночью наш брат Бенедек очень устал и попросился уйти. Он хотел отдыхать в Доме потише, поближе к садам. Он просил передать вам, что любит вас и чтобы вы больше не тревожились о его кашле. Теперь всё хорошо.

— Всё хорошо, — бормочет стол. Кто-то чуть смеётся, сквозь слёзы. Кто-то говорит:

— Молодец Бен.

Я продолжаю водить ложкой. Тридцать одна ложка. Мёда сегодня в каше уже нет; кажется, никто этого не замечает.

— Воздадим Благодарение за Бенедека, — говорит Торн.

Они поют. Согрей наш пол, согрей наш хлеб. Я пою с ними. Пою каждое слово.

Потом Томас наклоняется ко мне. Он всё ещё улыбается, но в голосе у него неуверенность.

— Рен. Как думаешь, в садах хорошо?

— Уверена, что хорошо, — говорю я.

Я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь описал сады. Ни разу за девятнадцать лет. Никто из ушедших не присылает ничего, кроме весточки через Голос. Никто ни разу не вернулся рассказать нам о дорожках, о запахе цветов, о том, тепло ли там.

Никто в этом зале ни разу не спрашивал.

После обеда наш день во дворе. Нас выводят цепочкой, руки на плечах, и воздух бьёт в лицо, холодный, пахнущий мокрым камнем. Над четырьмя высокими стенами низкое белое небо. Я поднимаю к нему лицо, как остальные, потому что так делают слепые во дворе: поднимают лицо, чтобы почувствовать воздух.

В дальнем конце двора гуляет и западный зал. Между нами низкая изгородь, по грудь, и никто никогда её не перелезает. Но голоса перелезают.

Особенно один.

— Нет, но в какой Дом? — Молодой мужчина. Не то чтобы громко. Отчётливо. Такой голос, который слышно далеко, потому что он не старается. — Должно же быть название. Номер. Если он куда-то ушёл, значит, это куда-то есть. Кто-нибудь там был? Кто-нибудь оттуда возвращался?

Вокруг него ропот. Кто-то на него шикает. Кто-то неловко смеётся.

— Айзек, — говорит голос постарше, усталый и добрый. — Оставь.

— Я только спрашиваю. — Пауза. Потом тише, почти себе: — Семеро с весны. Семеро из нашего зала. Многовато людей, которым всем захотелось уйти.

Сердце у меня колотится так сильно, что я боюсь, как бы соседка не почувствовала его через плечо.

Я держу лицо поднятым к белому небу долгий медленный счёт до двадцати. Потом даю голове лениво поплыть в сторону его голоса, чуть поздно и чуть не туда, как могла бы повернуться на заинтересовавший её звук любая слепая девушка во дворе.

И смотрю на него.

Он стоит один у изгороди, чуть в стороне от своих, будто вокруг него образовалось пустое место, в которое никому не хочется ступать. Высокий и слишком худой, одни запястья и ключицы, в такой же серой тунике, как у всех, но на нём она висит, как с чужого плеча. Волосы тёмные и плохо подстриженные, будто он резал их сам тупыми ножницами, и они падают ему на глаза. В Доме никто не обращает внимания на волосы, падающие на глаза. С чего бы?

Глаза у него цвета молока с каплей воды. Глаза слепого от рождения, как говорит мама: замутнённые насквозь, зрачки почти не видны. Они не видят меня. Они ничего не видят.

Но они не неподвижны.

Это первое, чем он отличается. У всех в Доме глаза отдыхают. Плавают, открытые и спокойные, ни на чём, как руки, которые положили на колени. Его глаза двигаются. Метнутся к каждому заговорившему голосу, будто какая-то часть его так и не перестала пытаться. Голова наклонена, одно ухо к голосам своего зала, другое к нашим, и всё тело натянуто, как струна. Вокруг него остальные подняли лица к небу и чуть приоткрыли рты, мягкие и улыбчивые, как лица, которые греют. Его лицо не поднято. Челюсть сжата. Он не наслаждается воздухом.

Он его слушает.

Правая рука у него лежит на верхней перекладине изгороди, и пока он говорит, пальцы постукивают по дереву. Не как попало. Один стук, потом ещё, потом пауза, потом стук. Я смотрю, как между фразами шевелятся его губы. Он считает. Он считает голоса на нашей стороне, понимаю я, одного за другим, каждый раз, когда кто-то говорит, смеётся или кашляет, как я считаю ложки, шаги и кровати.

Никто больше в Доме не считает людей. Шаги считаешь, чтобы не заблудиться. Ложки считаешь, если ты ребёнок и учишься есть. А люди просто есть, или они ушли, и больше о них знать нечего.

— Не трогай его, — бормочет женщина рядом со мной своей соседке, которая тоже остановилась послушать. — Это парнишка Хейлов. Он такой с тех пор, как сестра.

— Сестра?

— Маленькая Нелл. Ушла прошлой весной. Восемь лет. — Женщина цокает языком, не зло. — Он просил Голос отпустить его с ней. Каждый день просил, целый месяц. Потом перестал просить об этом и начал спрашивать про всё остальное.

Восемь лет. Я пытаюсь представить маленькую девочку, которой захотелось уйти от брата, к саду, который никто никогда не описывал. Не получается.

И у него, думаю я, глядя на его стучащие пальцы и беспокойные молочные глаза, тоже не получается.

Я медленно поворачиваю лицо обратно к небу. Но слушаю.

И считаю вместе с ним. С Бенедеком восемь.

Глава четвёртая — Тот, кто думает

На этой неделе у нашего зала прачечная.

Работа меняется по кругу. Неделя на кухне, неделя на полах, неделя в прачечной, где воздух такой густой от пара, что дышишь им, как супом, и туника прилипает к спине через сотню шагов. Большинство ненавидит прачечную неделю. Я нет. В прачечной никто ничего не видит, даже я. Семь дней я так же слепа, как все, и это почти похоже на отдых.

И мои камешки здесь.

На четвёртый день я жду, пока остальные складывают бельё за длинными столами у двери и поют, чтобы держать ритм, беру пустую корзину и бреду к задней стене, где стонут старые бойлеры и пар гуще всего. Третий ряд кирпичей от пола. Пятый от угла. Пальцы знают дорогу.

Там уже кто-то есть.

Я останавливаюсь так резко, что корзина бьёт меня по бедру. Сквозь белую мглу я вижу его очертания раньше, чем понимаю, кто это: высокий, слишком худой, одна длинная ладонь плашмя прижата к стене. Он медленно ведёт ею по кирпичам, как гладят животное, в котором не уверены. Губы у него шевелятся.

Он считает.

— Тут кто-то есть, — говорит он, не оборачиваясь. Не вопрос.

Мне надо уйти. Надо повернуться, вернуться к столам и складывать простыни, пока не заболят руки. Вместо этого я слышу собственный голос:

— Я за корзиной.

— Здесь нет корзин. — Теперь он поворачивается. Пар проплывает по его лицу, потом рассеивается, и впервые я вижу его близко.

Он моложе, чем мне показалось во дворе. Двадцать, может, двадцать два. Через левую бровь тянется тонкий белый шрам, будто кто-то хотел провести там черту и передумал. Острые скулы под кожей, бледной даже для Дома. Молочные глаза повёрнуты не совсем ко мне, чуть левее, и они всё ещё движутся, беспокойные, ищут в пару то, что никогда не придёт.

— Ты из восточного зала, — говорит он. — Ты была у изгороди. Три дня назад.

Сердце у меня падает в живот.

— Откуда ты знаешь?

— По дыханию. — Он говорит это просто, как кто-то другой сказал бы «по волосам». — Ты остановилась. Когда я сказал «семеро». Все остальные дышали дальше. А ты остановилась на счёт четыре и потом начала снова, очень осторожно. Как человек, который ставит полную чашку.

Я заставляю себя рассмеяться. Тихо, озадаченно, как смеялись при мне сто человек в этом Доме, когда кто-то говорил странное.

— Ты считаешь, как люди дышат?

— Я считаю всё. — Он снова поворачивается к стене. Пальцы находят следующий кирпич, потом ещё один. — Кто-то же должен.

— Зачем?

На миг мне кажется, что он не ответит. За нами стонут бойлеры. В дальнем конце комнаты женщины поют Благодарение, глухо сквозь пар, как песню, услышанную под водой.

— Мою сестру звали Нелл, — говорит он. — Ей было восемь. Она, кстати, боялась бойлеров. Этой комнаты. Говорила, что они звучат как великан, у которого болит живот. — По его лицу проходит что-то почти похожее на улыбку и исчезает. — Прошлой весной у неё был жар. Несильный. Она поправлялась. Я каждую ночь сидел с ней. А потом однажды утром протянул руку к её койке, а та пустая, и Голос сказал мне, что она ушла. Что сама попросилась. Что она счастлива.

Он прижимает ладонь к кирпичу.

— Она ни разу в жизни не выходила из нашего зала. Она боялась бойлера. И ушла ночью, одна, не попрощавшись со мной. — Он медленно качает головой. — Так что я начал считать. Сколько человек в нашем зале. Сколько во дворе в дни прогулок. Сколько голосов у изгороди. И числа уменьшаются. Каждый месяц понемногу. Семеро из нашего зала с весны. Теперь восемь, с вашим Бенедеком.

Горло у меня перехватывает.

— Откуда ты знаешь про Бенедека?

— Про Бенедека все знают. Он ушёл. — Он наклоняет ко мне голову. — Я знаю только число.

Сейчас мне надо сказать что-нибудь успокаивающее. Они в садах. Они счастливы. Голос нам сказал. Так сказал бы кто угодно из моего зала. Так должна сказать я.

Слова застревают во рту, как хлеб.

Он ждёт. Когда ничего не приходит, он чуть заметно кивает, будто я всё-таки что-то сказала. Что-то важное.

— Ты тоже не веришь, — тихо говорит он.

— Я этого не говорила.

— Нет. Ты ничего не сказала. Вот этого никто не делает, когда я рассказываю им про Нелл. Все всегда что-нибудь говорят. Говорят, что теперь она счастлива. Говорят, что Голосу виднее. Говорят: хватит спрашивать, Айзек, ты пугаешь детей. — Он поворачивается ко мне всем лицом, и на один страшный миг его ищущие глаза попадают точно в мои и остаются там, и мне приходится напомнить себе, что он не может этого знать, что это случайность, что он ничего не видит.

Свои глаза я держу неподвижными. Открытыми, пустыми, ни на чём. Даю им отдыхать на шраме в его брови.

— Меня зовут Айзек, — говорит он. — Айзек Хейл.

— Рен.

— Рен. — Он говорит это так, будто кладёт куда-то в надёжное место. — Бабушка говорила, так в старом мире звали маленькую птицу.

Я моргаю. По-настоящему моргаю.

— Ты знаешь, что такое птица?

— Бабушка рассказывала про птиц. Говорила, они как голоса, которые сами летают по воздуху. Маленькие, быстрые. Коричневые. — Он чуть хмурится. — Я так и не понял, что такое коричневый. Она говорила, это цвет хлебной корки. Я раньше думал, что цвет — это такой вкус.

В дальнем конце комнаты пение обрывается. Кто-то зовёт:

— Рен? Рен, ты куда делась?

Это Мари.

— Мне надо назад, — говорю я.

— Знаю.

Я поднимаю пустую корзину. Поворачиваюсь к столам. Я успеваю сделать четыре шага сквозь пар, когда его голос догоняет меня, очень тихий, такой тихий, что, наверное, никто, кроме меня, не услышал бы.

— Рен. Один кирпич в этой стене шатается. Третий ряд от пола. Пятый от угла.

Я останавливаюсь.

— Я ничего не брал, — говорит он. — Я просто посчитал. Я считаю всё. — Пауза. — Подумал, тебе стоит знать, что его может найти кто-то ещё. Вот и всё.

Я не оборачиваюсь. Не отвечаю. Я иду, медленно, ведя свободной рукой по краю стола, обратно к пению, к белой мгле и к голосу Мари, зовущему меня по имени.

Но весь день, складывая простыню за простынёй за простынёй, я чувствую это: маленькую шершавую тяжесть одиннадцати камешков за кирпичом в глубине комнаты и мальчика в пару, который точно знает, где они лежат.

Глава пятая — Голос

Раз в месяц, в вечер Собрания, все залы Дома сходятся в Большой комнате.

Только тогда я вижу всех сразу. Шесть залов, почти четыреста человек, их вводят через шесть дверей на шесть звонов и рассаживают кольцами на тёплом каменном полу, ряд за рядом, как вода оседает в чаше. Потолок такой высокий, что звук уходит в него и толком не возвращается. Слепые любят Большую комнату. Говорят, в ней чувствуешь себя внутри задержанного дыхания.

Я всегда её ненавидела. Четыреста человек — это четыреста возможностей кому-нибудь заметить, что моя голова поворачивается слишком уж хорошо.

Сегодня я сижу в третьем кольце, между Мари и Томасом, и держу глаза ни на чём. Через комнату, за пустым кругом пола посередине, где никто никогда не сидит, рассаживается западный зал.

Я его не ищу. Мне не нужно искать. Я точно знаю, где он: четвёртое кольцо, ближе к краю, чуть в стороне от остальных, как стоял у изгороди. Даже сидя, он держится как вопрос.

Звоны стихают. Комната замолкает. И Голос спускается с потолка, как тепло от огня.

— Мои дорогие.

— Добрый вечер, — отвечают четыреста голосов, и звук катится по стенам.

— Ещё один месяц прошёл в безопасности. Ещё один месяц без голода. Без холода. Без страха. — Голос делает паузу, как делает её всегда в этом месте, чтобы мы почувствовали пол под собой. — Я хочу, чтобы вы заметили, как вы себя сейчас чувствуете. Тепло. Сытно. Вокруг люди, которые вас любят. Вот что значит, когда тебя держат.

Вокруг меня люди вздыхают. Это настоящий вздох, счастливый. Голова Мари опускается мне на плечо.

— Некоторые из вас заметили, что в этом месяце воздух во дворе стал холоднее, — продолжает Голос. — Не бойтесь. Воздух такой же, как всегда. Это вы изменились. Вы теперь здоровее и чувствительнее. Ваши тела учатся чувствовать больше. Это хороший знак.

Облегчённый ропот. Кто-то рядом со мной тихо смеётся:

— Я так и знал.

Я поднимаю глаза к высоким окнам Большой комнаты. Их двенадцать, все зарешечены, и в двух стекло разбито, сколько я себя помню. Сегодня сквозь разбитые тянет тонкий холодный ветер. Он гоняет пыль по полу маленькими серыми спиралями. Никто, кроме меня, этого не видит. Они только чувствуют его кожей, а Голос объяснил им, что это чувство значит.

Вот как это работает, думаю я. Он никогда не говорит им, чего нет. Он только говорит, что значит то, что есть.

— А теперь, — говорит Голос, — как всегда, перед пением, слово за вами. Если вас что-то тревожит, мои дорогие, спрашивайте. Нет вопроса, на который я не отвечу.

Это Вопрошание. Оно бывает на каждом Собрании. Обычно оно идёт так: женщина спрашивает, пройдёт ли у её малыша кашель (пройдёт), старик спрашивает, будет ли мёд на празднике урожая (будет), кто-нибудь просит Голос ещё раз сказать, как сильно он нас любит, и он говорит. Потом все поют.

Сегодня первый вопрос про хлеб. Завтрашний хлеб будет сладким, обещает Голос. Второй от девочки из пятого зала, которой приснился плохой сон. Голос объясняет ей, что сны — это просто разум прибирается в себе, как руки складывают простыни.

Потом пауза.

И в эту паузу, из четвёртого кольца западного зала, падает отчётливый тихий голос, который слышно далеко без всякого старания.

— А где именно сады?

По кольцам пробегает рябь. Не вздох. Что-то мельче и хуже: звук, с которым четыреста человек в один и тот же миг решают, что им за кого-то неловко.

— Айзек, — тепло говорит Голос. Он знает его имя. Конечно, знает. — Рад тебя слышать.

— Спасибо. — Голос у него не испуганный. Это пугает меня сильнее всего. — Где они? Сады, куда уходят люди. В какую сторону? Сколько отсюда шагов? С весны туда ушли восемь человек из моего зала и из вашего. Мне хотелось бы знать, где они.

— Они в очень спокойном месте, — говорит Голос. — Далеко от шума залов.

— Насколько далеко?

Кто-то в западном зале смеётся, неловким смехом человека, который пытается сделать странный миг обычным. К нему присоединяется ещё один. Потом ещё. За несколько вдохов смех расходится по кольцам, мягкий и снисходительный, так смеются над ребёнком, который спросил, почему пол тёплый.

— Айзек, Айзек! — кричит кто-то. — Сколько шагов до счастья?

Снова смех. Мари смеётся у меня на плече. Томас смеётся. Даже Торн во главе нашего зала улыбается своей спокойной, как пол, улыбкой.

Я тоже смеюсь. Я должна. Тихонько, мягко, ровно так же громко, как Мари.

Хуже звука я в жизни не издавала.

Айзек ждёт, пока смех стихнет. Он не смеётся вместе со всеми и не спорит. Просто сидит в четвёртом кольце, наклонив голову, водя беспокойными молочными глазами по комнате, и ждёт, будто смех — это погода и она пройдёт.

— Спасибо за вопрос, — говорит Голос, когда в комнате снова тихо. Тепла в нём ничуть не убавилось. Если уж на то пошло, он стал теплее. — Я хочу, чтобы все поняли одну вещь. Когда человек задаёт много вопросов, это не потому, что с миром что-то не так. Это потому, что внутри него что-то устало. Айзек носит в себе большую печаль с тех пор, как ушла его сестра. Печаль делает разум беспокойным. Заставляет его считать. Заставляет искать в темноте очертания, которых там нет.

Вокруг меня люди кивают. Я чувствую это сквозь пол, мягкую волну согласия.

— Так будем же бережны с Айзеком, — говорит Голос. — Будем его держать. А с тобой, Айзек, я хотел бы поговорить сам, наедине, очень скоро. Мне кажется, тебе нужен отдых.

Комната одобрительно гудит. Как заботливо, шепчет кто-то. Голос такой заботливый.

Через пустой круг посреди пола я смотрю на лицо Айзека. Впервые с тех пор, как я его увидела, оно меняется. Совсем немного. Челюсть разжимается, чуть-чуть, будто то, что он держал изо всех сил, наконец стало слишком тяжёлым. Рука, лежащая на колене, перестаёт стучать.

Больше он ничего не говорит.

Потом Торн начинает Благодарение, и четыреста голосов поднимаются под потолок, и я пою с ними, каждое слово, согрей наш пол, согрей наш хлеб, а через комнату мальчик, который задал на один вопрос больше, чем можно, сидит посреди самого любящего звука на свете совершенно один.

Мне кажется, тебе нужен отдых.

Я знаю, что значит отдых. Я видела, как выносили Бенедека, завёрнутого в одеяло.

У него, может быть, три дня.

А у меня три дня, чтобы решить, чем я готова рискнуть.

Глава шестая — Вспышка

— Ты его не спасёшь.

Мама говорит это раньше, чем я успеваю договорить. Я сижу на краю её кровати в Тихой комнате, прижав губы к её уху, и дошла только до «Голос сказал, что ему нужен отдых», когда её худая рука смыкается на моём запястье.

— Не спасёшь, — повторяет она. — Послушай меня, Рен. Твой отец попытался спасти одного человека. Одного старика, который упал в темноте.

— Пелл дожил до утра, — шепчу я.

— А твой отец не дожил до весны. — Её пальцы сжимаются сильнее. Для больной женщины она очень сильная. — Этот мальчик сам выбрал спрашивать. Ты ничего не выбирала. Ты родилась с глазами, а я девятнадцать лет учила их молчать. Не смей превратить это в ничто.

Я не отвечаю. На соседней кровати храпит старая Инес. Где-то в глубине палаты спящий снова и снова повторяет одно и то же имя.

— Пообещай мне, — говорит мама.

Я целую её в лоб. Говорю ей «спокойной ночи». Иду двести двенадцать шагов обратно к своей койке, считая.

Я не обещаю.

На следующее утро в длинный зал заходит солнце.

Такого почти не бывает. Высокие окна смотрят не в ту сторону, а небо над Домом почти всегда низкое и белое, как крышка. Но этим утром, посреди завтрака, в небе что-то разрывается, и длинный косой луч спускается сквозь прутья и ложится поперёк нашего стола, как лезвие.

Он золотой. Не жёлтый, не белый. Золотой. Впервые в жизни я понимаю одно из слов на моих камешках, и понимание входит в меня так быстро, что становится больно.

Вдоль всего стола люди вздыхают от удовольствия.

— Ох, — говорит Мари. — Чувствуете?

Конечно, они чувствуют: тепло на руках, на лицах. Один за другим они поворачиваются к нему, как цветы в маминых сказках. Томас держит ладони в луче плашмя, как в воде. Маленькая девочка в конце стола смеётся и кладёт щёку прямо на дерево, туда, где золото ярче всего.

— Голос нас согревает, — говорит Торн и улыбается своей спокойной улыбкой. — К годовщине.

Луч движется. Медленно, как движется свет, он ползёт по столу ко мне. Доходит до моей миски. Доходит до рук.

Доходит до глаз.

И впервые за пятнадцать лет моё тело забывает всё, чему учила его мама.

Это не моргание. Это хуже. Глаза почти зажмуриваются и слезятся, а голова резко отворачивается, из света, в тень у меня за спиной. Прочь от тепла.

Это длится меньше вдоха. Я ловлю себя. Снова делаю лицо мягким. Даю глазам открыться, пустым. Даю слезам течь, потому что слёзы — ничего; слепые тоже плачут.

Но рядом со мной Торн перестал есть.

Торн всегда сидит во главе нашего стола, а я с детства сижу по правую руку от него, потому что до меня там сидела мама. Я ни разу его не боялась. Он — пол. Он — колокол. Он — Дом.

Он очень бережно кладёт ложку.

— Ты отвернулась, — говорит он.

Говорит негромко. Вокруг нас стол всё ещё смеётся в свете, подставляет руки, никто не слушает. Слышу только я.

— Слишком горячо, — говорю я. Голос выходит идеальным. Лёгким, чуть удивлённым. — На лице. У меня голова болит.

— К теплу поворачиваются все, — говорит Торн. — Младенцы так делают, ещё не умея ползать. Старики делают так во сне. — Он медленно наклоняет голову, как наклоняет её Айзек. — Я почувствовал, как ты двинулась. Ты отвернулась раньше, чем оно до тебя дотронулось.

Луч соскальзывает с моего лица на стол. Теперь я чувствую его на руках. Заставляю себя повернуть ладони вверх, в него, как Томас. Заставляю себя вздохнуть.

— Так лучше, — говорю я. — Теперь приятно.

Торн долго молчит. Потом снова берёт ложку.

— Твоя мать так делала, — говорит он почти ласково. — Когда была молодой. Отворачивалась от тёплого. — Он отправляет в рот ложку каши. — Я всё думал почему.

Потом облака смыкаются, и золото исчезает, и длинный зал снова серый. Вдоль всего стола люди разочарованно вздыхают, и кто-то говорит, что Голос, наверное, бережёт тепло на потом.

Я ем кашу. Считаю ложки. Тридцать одна. На Торна я не смотрю.

Но я чувствую длинные бледные шрамы на его ладонях, лежащих на столе рядом с моей миской, так же ясно, как если бы они меня касались.

Этой ночью я не сплю.

Я лежу на койке, слушаю, как дышат тридцать девять человек, и думаю о двух вещах.

Первая — золото. Как оно лежало на столе и на руках Томаса и как ни один человек в зале не знал, что это. Они его почувствовали, и полюбили, и поблагодарили за него Голос. У них есть тепло. Золота у них не будет никогда. И они никогда не узнают, что им чего-то не хватало.

Вторая — мальчик из западного зала, которому через два дня дадут отдых.

Мама права. Я не могу его спасти. Я одна девушка с одиннадцатью камешками в жестянке, Торн начал обо мне задумываться, а каждое правило, которому меня учили, говорит: замри, опаздывай, будь никем.

Но завтра день во дворе. Изгородь между восточным залом и западным всего по грудь, а Айзек всегда стоит прямо у неё.

Завтра я подойду к этой изгороди. Найду его руку на перекладине и скажу ему то, чего в Доме ему не говорил никто: что он прав. И что ему надо перестать спрашивать, сейчас, сегодня, пока Голос не дал ему отдых.

Глава седьмая — Изгородь

Ветер во дворе холоднее, чем вчера.

Голос был прав, говорят все, пока мы выходим цепочкой, руки на плечах. Мы и правда стали чувствительнее. Мари дрожит у меня за спиной и смеётся над этим. Томас говорит, что его уши учатся чувствовать больше. Никто не произносит слово «зима». Оно вышло из употребления ещё до моего рождения, рассказывала мама, вместе с «инеем» и «снегом». Теперь есть только холод, а что значит холод, объясняет Голос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.